

Сегодня утром мне позвонил Рино. Я подумала, что ему опять нужны деньги, и уже приготовилась отказать. Но он звонил по другому поводу: его мать пропала.

– Когда?

– Две недели назад.

– И ты звонишь мне только сейчас?

Наверное, в моем голосе ему послышалась неприязнь, хотя в нем не было ни раздражения, ни возмущения, – лишь нотка сарказма. Он попытался оправдаться, но как-то неуверенно, смущенно, переходя с диалекта на итальянский и обратно. Сказал, будто решил, что мать, как обычно, гуляет по Неаполю.

– И ночью тоже?

– Ты же ее знаешь.

– Знаю, но две недели – это, по-твоему, нормально?

– Да. Ты давно ее не видела. Ей стало хуже: она почти не спит, то приходит, то уходит, делает что заблагорассудится.

В конце концов он все-таки забеспокоился. Расспросил кого мог, обзвонил больницы, даже обратился в полицию. Безрезультатно, матери нигде не было. Хорош сынок – толстый мужик под сорок, никогда в жизни не работал, занимался темными делишками да проматывал деньги. Я представила себе, как он ее искал. Да никак! Мозгов нет, а заботиться привык только о себе.

– А у тебя ее нет? – ляпнул он вдруг.

Его мать – здесь, в Турине? Он прекрасно знал ответ и задал вопрос, лишь бы что-то спросить. Сам-то он любил путешествовать и заезжал ко мне раз десять, не меньше, и всегда без приглашения. А вот его мать, которую я, напротив, приняла бы с радостью, никогда по своей воле не покидала Неаполя, ни разу в жизни.

– Нет, у меня ее нет, – ответила я.

– Точно?

– Рино, я тебя умоляю! Сказала ведь: ее здесь нет.

– А куда же она подевалась?

Он захныкал, и я позволила ему разыграть трагическую сцену с рыданиями, поначалу притворными, а потом вполне искренними. Когда он умолк, я сказала:

– Пожалуйста, хоть раз сделай так, как она хотела бы: не ищи ее.

– Что ты говоришь?

– Я говорю то, что говорю. Это бесполезно. Учись жить один и не ищи ее больше. И мне больше не звони.

Я повесила трубку.

2

Мать Рино – Рафаэлла Черулло, но все всегда звали ее Лина. Все, кроме меня: я никогда не называла ее ни одним из этих двух имен. Уже больше шестидесяти лет для меня

она – Ли́ла. Если бы я когда-нибудь вдруг назвала ее Линой или Рафаэ́ллой, она бы решила, что нашей дружбе конец.

Уже лет тридцать, не меньше, она твердит мне, что хочет исчезнуть, не оставив за собой следов, и только я знаю, что она имеет в виду. Она никогда не помышляла о побеге, смене личности, не мечтала начать новую жизнь в другом месте. Никогда не думала и о самоубийстве: при одной мысли о том, что у Рино возникнут трудности с захоронением и ему придется поволноваться, ей делалось не по себе. У нее было другое на уме: она хотела испариться, раствориться до последней клетки, чтобы от нее не осталось ничего. И поскольку я ее хорошо знаю – по крайней мере, надеюсь, что знаю, – я не сомневаюсь, что она нашла способ не оставить от себя в этом мире ни волоска.

3

Прошло несколько дней. Я проверила электронную почту, без особой надежды заглянула в почтовый ящик. Я писала ей очень часто, но она почти никогда не отвечала – это вошло у нас в привычку. Она предпочитала разговоры по телефону и болтовню ночи напролет, когда я приезжала в Неаполь.

Я перебрала ящики, жестяные коробочки, в которых держу всякие мелочи. Совсем немного. Я выбросила кучу вещей, особенно связанных с ней, и она об этом знает. Я обнаружила, что у меня нет от нее ничего: ни портрета, ни записки, ни памятной вещицы. Я сама удивилась. Возможно ли, что за все эти годы она ничего мне не оставила, или хуже того – что я не захотела ничего от нее сохранить? Возможно.

На этот раз я сама скрепя сердце позвонила Рино. Он не отвечал ни на домашний, ни на мобильный. Перезвонил

вечером, когда ему было удобно. Судя по голосу, рассчитывал вызвать у меня чувство вины.

– Я видел, что ты звонила. Есть новости?

– Нет. А у тебя?

– Тоже нет.

Стал молотить какую-то чепуху: будто бы собирается ехать на телевидение, на передачу, которая занимается поиском пропавших людей, обратиться с экрана к матери, попросить у нее прощения за все, умолять вернуться.

Я спокойно выслушала его, а потом спросила:

– Ты заглядывал в ее шкаф?

– Это еще зачем?

Конечно, такая простая идея никогда не пришла бы ему в голову.

– Загляни.

Он сходил и вернулся с отчетом, что в шкафу ничего нет, ни одной вещи – ни летней, ни зимней, только старые вешалки. Я велела ему осмотреть весь дом. Обувь тоже исчезла. Исчезли немногочисленные книги. Исчезли все фотографии. Исчезли видеозаписи. Исчез компьютер и даже старые дискеты, которые давным-давно не использовались, – все атрибуты волшебницы, невероятно ловко управлявшейся с любой электроникой и освоившей калькулятор еще в конце шестидесятых, в эпоху перфокарт. Рино был поражен.

– Не торопись, ищи хорошенько, – сказала я ему. – Потом, если найдешь хоть одну ее шпильку, позвони мне.

Он позвонил мне на следующий день, очень взволнованный:

– Ничего.

– Совсем ничего?

– Нет. Она отрезана со всех фотографий, на которых мы были вместе, даже с моих детских.

– Ты хорошо искал?

– Везде смотрел!

– И в подвале?

– Я же сказал тебе – везде. Пропала даже коробка с документами: ну, всякие там старые свидетельства о рождении, договоры с телефонной компанией, квитанции. Что это значит? Нас ограбили? Что они искали? Чего хотят от нас с матерью?

Я успокоила его, убедила, что бояться нечего. Особенно ему: уж от него-то точно никто ничего не хочет.

– Можно я приеду и немного поживу у тебя?

– Нет.

– Ну пожалуйста! Я совсем не сплю.

– Ничего, сам справишься. Я не знаю, чем тебе помочь.

Я повесила трубку и не ответила, когда он перезвонил. Потом уселась за письменный стол.

Лила, как обычно, перегибает палку, подумала я.

Она слишком широко понимала, что значит «не оставить следов». Захотела не просто исчезнуть, сейчас, в шестьдесят шесть лет, но и перечеркнуть всю прожитую жизнь.

Я ужасно разозлилась.

«Посмотрим, кто кого на этот раз», – подумала я, включила компьютер и начала описывать нашу историю – всю, в подробностях, которые сохранила моя память.

ДЕТСТВО

ИСТОРИЯ ДОНА АКИЛЛЕ

Наша дружба с Лилой началась в тот день, когда мы решились подняться по темной лестнице, ступенька за ступенькой, пролет за пролетом, к самой двери квартиры дона Акилле.

Я помню двор в сиреновом свете, запахи теплого весеннего вечера. Мама готовили ужин, и нам пора было по домам, но мы опаздывали: как обычно, и словом не обмолвившись, мы затеяли очередное соревнование – проверку на смелость. С некоторых пор и в школе, и после занятий мы только этим и занимались. Лила совала руку в черную пасть трубы, и я с замиранием сердца повторяла то же, надеясь, что меня не атакуют тараканы и не покусают мыши. Лила влезала на окно синьоры Спаньюоло на первом этаже, хваталась за железную перекладину, к которой крепились веревки для сушки белья, раскачивалась и спрыгивала на тротуар, и я следом за ней проделывала то же самое, хотя боялась упасть и ушибиться. Лила втыкала под кожу ржавую булавку, которую когда-то нашла на

улице и носила в кармане как подарок феи, и я смотрела, как металлическая игла пробивает белесый туннель на ее ладони. Потом она вытаскивала булавку, протягивала мне, и я тоже колола себе руку.

Однажды она, как обычно прищурившись, пристально посмотрела на меня и указала на дом, в котором жил дон Акилле. Я похолодела от страха. Дон Акилле был настоящим людоедом из сказок, мне строго-настрого запрещали приближаться к нему, заговаривать с ним, смотреть на него или следить за ним; мне велели делать вид, что ни его, ни его семьи не существует. В моем доме, и не только в моем, все боялись его и ненавидели; я не знала, чем он это заслужил. Мой отец говорил о нем так, что мне он представлялся огромным, покрытым фиолетовыми наростами свирепым чудовищем, несмотря на частицу «дон», внушавшую мне непререкаемое уважение. Не знаю, из чего было создано это существо – из железа, стекла, а может, из крапивы, – но оно было живым, живым, и из носа и изо рта у него вырывалось пылающее дыхание. Я верила, что, если взгляну на него даже издалека, он прыснет мне в глаза чем-нибудь острым и жгучим. А если осмелюсь приблизиться к двери его дома, он меня убьет.

Я подождала немного, на случай, если Лиля вернется. Я знала, что она собирается сделать, и надеялась: вдруг передумает? Но нет, она не передумала. Фонари еще не зажгли, лампочки на лестницах тоже. Из окон доносились раздраженные голоса. Чтобы последовать за ней, мне надо было из залитого серо-голубым светом двора шагнуть в черноту подъезда. Когда я наконец решилась и вошла, то сначала ничего не видела, только чувствовала запах затхлости и дихлофоса. Потом глаза привыкли к темноте, и я обнаружила Лилу, сидевшую на первой ступеньке первого пролета. Она встала, и мы начали подъем.

Мы двигались, прижимаясь к стене; она на две ступеньки впереди, я – на две позади, раздираемая сомнениями: догнать ее или отстать еще больше. До сих пор помню свои ощущения: плечо задевает за стену с облупившейся краской, а ступеньки очень высокие, выше, чем у нас в доме. Меня трясло. Когда мы слышали чьи-то шаги или голос, нам казалось, что это дон Акилле подкрадывается к нам сзади или идет навстречу с длинным ножом вроде того, каким разделявают курицу. Пахло жареным чесноком. Я представляла себе, как Мария, жена дона Акилле, бросает меня на сковородку с кипящим маслом. Потом их дети меня съедят, а он обсосет мою голову, как делает мой отец, когда ест барабульку.

Мы то и дело останавливались, и каждый раз я надеялась, что Лила повернет назад. Не знаю, как она, а я вся вспотела. Время от времени она поглядывала вверх, но я не понимала зачем, потому что в пролетах виднелись только серые окна. Вдруг зажегся свет, однако пыльные лампочки горели тускло, и часть лестницы по-прежнему тонула во тьме и была полна опасностей. Мы остановились и насторожили уши – вдруг это дон Акилле включил свет, – но ничего не услышали: ни шагов, ни скрипа открывающейся или закрывающейся двери. Лила пошла вперед – я потащила следом за ней.

Она верила, что делает что-то важное и необходимое, зато у меня не было ни единой причины находиться там, кроме одной: идти за Лилой. Мы медленно приближались к самому страшному из наших тогдашних кошмаров, мы поднимались навстречу своему страху.

Когда мы дошли до четвертого пролета, Лила неожиданно остановилась, дождалась меня, а когда я ее догнала, протянула мне руку. Этот жест все изменил между нами. Навсегда.